Литературная карта

Алексей ВОСТРОВ

ГРАНИЧНЫЙ ЭФФЕКТ ИЛИ ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Диалог «своего» и «чужого» в финский период жизни Леонида Андреева

Аннотация. В статье анализируется финский период творчества Леонида Андреева. С точки зрения диалога «своего» и «чужого» рассматривается влияние на поздние произведения автора финского ландшафта («власти местности», согласно локально-историческому методу Н. Анциферова), финского образа жизни и революционных событий.

Ключевые слова: Л. Андреев, И. Репин, Н. Рерих, Финляндия, концепция «своего» и «чужого», вненаходимость, локально-исторический метод.

Алексей Владимирович ВОСТРОВ, эссеист, историк, преподаватель математики Санкт-Петербургского политехнического университета. Сфера научных интересов — финляндская литература, литература национального меньшинства, белорусская литература, двуязычие, символика границы в истории и литературе. Автор книги «Шведский архипелаг Финляндии: взгляд со стороны» (2014), а также ряда работ по истории и культуре Финляндии. Email: alex.sinkriver@gmail.com.

Леонид Андреев окончательно переехал в Финляндию в 1908 году, в собственную «Виллу Аванс», как он шутливо ее называл. Огромный дом на берегу Финского залива близ устья Черной речки (Ваммельсуу, совр. Серово), построенный на взятые вперед деньги за издание собрания сочинений (в 1910—1916 годы опубликованы 17 томов), предопределил последние одиннадцать лет жизни писателя. Спроектированный самим Андреевым в стиле норвежского замка, дом был построен молодым архитектором А. Олем, мужем младшей сестры писателя. Разваливающийся опустелый «замок» был продан за долги и разобран менее чем через два десятилетия, в 1924 году, а часть бревен и красная черепица были использованы при строительстве школы.

Суровая параллель напрашивается сама собой: так же быстро была развенчана всероссийская слава Андреева, оказавшегося за границей и забытого отечественной литературой после Октябрьской революции. Фактически Андреев сам способствовал этому, отказавшись сотрудничать с издателем З. Гржебиным и М. Горьким на рубеже 1918—1919 годов. Основными причинами отказа стали нелегитимность власти и новое правописание. «Один из наиболее характерных представителей буржуазного декадентства» — характеристика, надолго лишившая его читателей на родине. Ставшее классическим (в том числе школьно-программным) высказывание Л. Толстого «он пугает, а мне не страшно» подчеркивает, как читатели советского периода знакомились с творчеством Андреева.

Его произведения не издавались около четырех десятилетий, однако в 1920-е годы вышло три публикации, посвященные памяти писателя, умершего в сентябре 1919 года. Первая и самая крупная— «Книга о Леониде Андрееве» (1922), в которую вошли воспоминания М. Горького, К. Чуковского, А. Блока, Б. Зайцева. Исключением стал «Реквием. Сборник памяти Л. Андреева» (1930), так как в него, кроме документальных материалов, вошла одно-именная пьеса.

В 1957 году, в период оттепели, появился однотомник повестей и рассказов, с которого началось постепенное возвращение полузабытого автора. Целенаправленные иссле-

дования творчества Андреева появились в 1970—1990-е годы и были связаны как с отечественными именами (в первую очередь, Л. Иезуитова, В. Беззубов), так и зарубежными (Б. Хеллман, Р. Дэвис). В XXI веке количество исследований увеличилось. Имя Андреева упоминается все чаще: в 1991 году был открыт музей в родном Орле, в 2003-м установлена мемориальная доска в Петербурге, в 2013 году был снят фильм «Иуда», спустя год — основан Московский театр его имени, в 2016-м состоялась громкая премьера «Губернатора» в петербуржском БДТ...

Символично, что вторая жизнь андреевского дома указала на будущее произведений писателя, попавших в школьную программу: с 1990-х годов его «Иуда Искариот» стал факультативно изучаться на уроках литературы. Но писатель тем не менее остался вдалеке от современного читателя — и как автор, и как персонаж: мало кто может перечислить несколько его произведений. Зачастую его путают с сыном Даниилом. А местоположение фундамента дома, до сих пор сохранившегося на территории детского лагеря «Океан» (случайная связь с названием пьесы?!) в Серове, неизвестно даже большинству сотрудников и отдыхающим.

Здесь необходимо сделать ремарку, что отъезд 1908 года в финскую «глушь и тишину» отдалил Андреева от Петербурга, но не от читателей и литературных столичных кругов, до которых было всего несколько часов пути и которые «перекочевали» в его дом на Черной речке. Лишь вынужденная изоляция последних двух лет жизни, отягощенная Гражданской войной, полностью оторвала писателя от родины и «прибила» к оказавшемуся чужим финскому берегу.

Финская культура и ландшафт за 11 лет почти постоянного проживания писателя на Карельском перешейке не могли не оказать влияние на образ жизни, социальные контакты, мировоззрение Андреева. Однако насколько серьезно они сказалась на творчестве? В этом контексте интересно рассмотреть применимость концепции «своего» и «чужого» при анализе произведений, относящихся к финскому периоду жизни автора. Также необходимо учитывать влияние особой культурной среды Карельско-

го перешейка, сформировавшейся в последней четверти XIX — начале XX веков. И, несомненно, масштабных перемен в Российской империи и Финляндии, вызванных революциями и Первой мировой войной.

1

Андреев посещал Финляндию неоднократно, задолго до марта 1908 года, когда поселился на берегу Черной речки¹. Он провел лето 1905 года на съемной даче в Ваммельсуу, выступал на творческих вечерах в Терийоках (современный Зеленогорск), бывал на «средах» у И. Репина в его знаменитых «Пенатах», посещал Гельсингфорс (Хельсинки), устраивая дела по переводу и публикации своих произведений², давал интервью. Проводя лето 1906 года в Эсбо (Эспоо) близ Гельсингфорса, он оказался вовлеченным в революционные волнения русского гарнизона крепости Свеаборг и выступил на митинге финской Красной гвардии. После подавления восстания Андреев быстро покинул Финляндию, оставив на даче беременную жену Александру Михайловну с маленьким Вадимом, ненадолго остановился в безопасном Стокгольме, а затем уехал на север Норвегии.

Немаловажно, что Андреев называл свою первую жену, умершую после родов в ноябре 1906 года в Берлине, «сосенкой на граните», что перекликается с привычным

¹ Здесь, конечно, напрашивается параллель с А. Пушкиным. Только Андреев «вызвал на дуэль» всю новую Советскую Россию и был морально уничтожен (следствием стала преждевременная смерть) происходившими на родине переменами. Иллюстрацией «вызова» стали статьи «S.O.S.», «Veni, Creator!», «Европа в опасности».

² Первые переводы произведений Андреева в Финляндии состоялись в 1903 году (на финский и шведский языки), первый сборник рассказов вышел осенью 1905 года, незадолго до публикации финских и шведских переводов «Красного смеха». Популярность Андреева достигла пика в 1908 году; в дальнейшем, в 1910—1920-е годы, финскими театрами были востребованы некоторые его пьесы. Подробнее см.: [Хеллман 2012].

финским пейзажем. Эта аллюзия проявляется сильнее в отождествлении скупой карельской природы с одиночеством, а позднее — с декорациями к реальной жизни. В письме к М. Горькому в августе 1907 года, когда участок был уже куплен и началось строительство, Андреев отмечает: «Ты знаешь мое давнишнее мечтание — уйти из города совсем. И вот я ухожу из него — в глушь, в одиночество, в снега...» [Кен, Рогов: 191]

К решению купить участок именно на Карельском перешейке Андреев шел несколько лет: в письме к брату Павлу он замечает, что жить за границей больше не может и хочет в Финляндию, так как в самой России, по всем соображениям, ему неудобно [Кен, Рогов: 188]. Но сам факт переезда состоялся сразу после скоротечного романа с Анной Ильиничной Денисевич, приведшего ко второй женитьбе писателя. Новый дом, самостоятельно придуманный будущим хозяином, дополнял желание Андреева осуществить реинкарнацию предыдущего счастливого брака: автор написал сюжет, поместил его в заранее выбранные декорации и стал ожидать счастливой развязки. Но произведения Андреева менее всего предполагали такой поворот.

Эта «пьеса» незримо перекликается с сюжетом повести «Жизнь Василия Фивейского», написанной в 1903 году. Беременная жена о. Василия, ждавшая перерождения утонувшего старшего сына и бросившая пить, вскоре жестоко разочаруется — родился идиот. Провидение, как и писатель Андреев, не пощадило своего героя, которому после первых внешне благополучных лет в Финляндии послало суровые испытания — войну и революцию... Показательно, что со второй женой он познакомился в Финляндии (с подачи К. Чуковского) — она работала провизором в аптеке в Терийоках, а сам Андреев провел лето 1907 года на съемной даче в близлежащей Куоккале (современное Репино).

В те годы летний отдых в Финляндии считался модным и недорогим, чему способствовали близкий к природе финский крестьянский быт, близость Карельского перешейка к столице, наличие железной дороги, законченной в 1870 году и связавшей Петербург с Гельсингфорсом. Перед Первой

мировой войной численность отдыхающих на Карельском перешейке превышала 100 тысяч человек, а дачникам принадлежало около 5000 домов (см.: [Мусаев: 75]). Хотя Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи, его автономный статус предполагал наличие границы с особыми таможенными правилами, собственной полиции, валюты и, конечно, официальных языков — традиционного шведского и народного финского. Русский язык, несмотря на все попытки правительства Николая II, фактически не стал административным из-за революций и Первой мировой войны, а также активного сопротивления финляндцев и части русской интеллигенции.

Кроме географического, экономического, природного факторов немаловажным аспектом популярности дачного отдыха стало присутствие знаменитых дачников: И. Репина, М. Горького, К. Чуковского, В. Мейерхольда, В. Стасова, Ф. Шаляпина, Н. Рериха... Д. Лихачев вспоминает: «Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция — преимущественно артистическая <...> Я в детстве жил в Куоккале недалеко от "Пенат" Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками» [Лихачев: 63].

«Эффект русских дачников», просуществовавший всего несколько десятилетий, заключался не столько в количестве русскоязычного населения Карельского перешейка в летнее время, сколько в создании особой этнолингвистической культурной среды, существовавшей вблизи столицы и подпитывавшейся от нее. Постоянные театральные постановки, в которых участвовали В. Мейерхольд и В. Немирович-Данченко; художественные выставки с непременным участием И. Репина и его знаменитые «среды», частые литературные вечера у Л. Андреева... Тот же Д. Лихачев, школьным учителем которого был младший брат Л. Андреева — Павел, отмечал, что культура дачного общества бы

ла повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе (см.: [Лихачев: 62—63]).

Однако особые, достаточно свободные от государственной идеологии, условия позволяли более свободно выражать революционные настроения — в том числе в искусстве. Финские власти не желали преследовать революционеров (только под нажимом официального Петербурга или в критических случаях), и, по мнению Д. Лихачева, Куоккала стала одной из родин европейского авангардизма [Лихачев: 63]. Культурные контакты с представителями золотого века финляндской культуры³ наполняли поездки в «русское зарубежье» дополнительным смыслом. Культурные импульсы, направленные из Петербурга в сторону Гельсингфорса, но угасавших по мере удаления от имперской столицы, способствовали несомненному интересу финских издательств к русской литературе.

Финское население Карельского перешейка также испытало значительное влияние «эффекта»: местные жители стали говорить на смеси финского и русского языков; сдавая внаем дачи, почти полностью отошли от земледелия и ремесел, то есть традиционного образа жизни. Смещение идентичности жителей приграничных земель частично отразилось и на жителях Гельсингфорса, но именно Петербург, породивший этот эффект, уже вскоре испытал огромное его влияние. Самой яркой иллюстрацией стала реакция на желание правительства перенести границу дальше от Петербурга в сторону Выборга (из-за соображений безопасности столицы): часть русских дачников заявила о намерении владеть дачей именно на территории Финляндии (см.: [Мусаев: 81]).

³ А. Эдельфельт учился в Академии художеств и высоко ценился при дворах Александра III и Николая II (ему заказывали портреты императорской фамилии); художник Х. Бакманссон и творческая семья Ярнефельтов также тесно связаны с Петербургом. Кроме того, в Петербурге несколько раз исполнялись произведения Я. Сибелиуса при участии самого композитора в качестве дирижера. Интересна история взаимоотношений знакового финского художника А. Галлен-Каллела с И. Репиным.

Атмосфера свободы и дикой природы породила северный цикл Н. Рериха⁴, жившего в глубине Карельского перешейка около Сортавалы, ряд значительных полотен И. Репина из дачной Куоккалы, яркие образы модернисткой поэзии Э. Седергран из Райвола (современное Рощино) и произведения «финского периода» Л. Андреева.

Согласно Л. Иезуитовой, произведения Андреева 1905—1911 годов делятся на три цикла (см.: [Иезуитова: 181—182]), два из которых («реакционный», ставший следствием революции, и «срывания масок») так или иначе связаны с Финляндией. На новой даче были написаны многие произведения, среди которых «Черные маски» (1908), «Дни нашей жизни» (1908), «Анатэма» (1909), «Океан» (1911), «Король, закон и свобода» (1914), «Тот, кто получает пощечины» (1915), «Иго войны» (1916), «Дневник Сатаны» (1919). Их связь с финским ландшафтом не очевидна, но немаловажна.

2

Краевед Н. Григорьева считает, что Черная речка для русской литературы стала сродни Ясной Поляне или Михайловскому, настолько тесно связан с этой землей Андреев — и творчески, и духовно, и просто перипетиями своей сложной жизни (см.: [Григорьева: 52]). Писатель Б. Зайцев, несколько раз посещавший «Виллу Аванс» и хорошо знавший Л. Андреева еще по московской жизни, трактовал эту связь по-своему: «Хорошо было удалиться из столицы, но это не было удалением в Ясную Поляну, столица

⁴ В очерке «Держава Рериха», написанном в 1919 году к выставке художника в Гельсингфорсе, Л. Андреев являет и свое отношение к финской природе: «Рерих — единственный поэт Севера, единственный певец и толкователь его мистической таинственной души, глубокой и мудрой, как его черные скалы, созерцательной и нежной, как бледная зелень северной весны, бессонной и светлой, как его белые и мерцающие ночи» [Андреев: 655].

перекочевала к нему в самом суетном и жалком облике; взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму и обманывала» [Зайцев: 260].

Значимость Черной речки не стоит преувеличивать: в восьми верстах находилось сакральное место русской культуры — репинские «Пенаты», которые оказывали влияние на Петроград и Ленинград даже из-за установившейся в 1918 году советско-финской границы. Илья Ефимович, тесно друживший и с обеими семьями Андреева, отмечал художественные способности как самого писателя, так и его сына Саввы. Также талант к живописи отмечали в хозяине часто гостивший В. Серов и посещавший Ваммельсуу Н. Рерих.

Важной деталью «Виллы Аванс» являлись полутоновые изображения Л. Андреева, которые украшали интерьеры усадьбы. Вера Андреева, дочь писателя, вспоминает: «Над громадным камином — картина, нарисованная углем на сером картоне. Это копия картины Гойи. Она занимает почти полстены <...> С другой стороны камина на таком же сером картоне, как и черти Гойи, нарисован еще один черт. Или это уже не просто черт, а сам сатана или, может быть, рок? Он сидит на земном шаре и держит на коленях большую раскрытую книгу <...> В самом темном углу кабинета — большой портрет Толстого на смертном одре...» [Андреева: 263—264]. Портрет Л. Толстого, почитаемого Андреевым (единственный раз он посетил усадьбу за полгода до смерти «яснополянского старца»), иллюстрирует неосознанную попытку связать дом на Черной речке со знаменитой усадьбой Тульской губернии. Но разительное отличие атмосферы и излучаемых культурных импульсов очевидно.

Бревенчатый дом из толстых сосновых бревен, выкрашенный бесцветной краской и прозванный местными жителями «замком дьявола» (*Pirulinna*) за свой слишком смелый вид, выделялся среди небольших дачных построек и служил местной достопримечательностью. Задуманный как крепость, дабы оградить Л. Андреева от внешнего мира, он довлел и над самим хозяином, не сумевшим найти баланс между вековой финской природой и своей мечущейся натурой.

Громадина с четырехугольной башней — слишком высокой для минималистичной финской самодостаточности — оказалась очень хрупкой и начала разваливаться еще в процессе строительства. Будто указывала на тщетность попыток Л. Андреева, в отличие от уже упомянутого И. Репина, «поместиться» в этот маленький пейзаж, обрести здесь гармонию. Б. Зайцев отмечает: «Эта дача очень выражала новый его курс; и шла и не шла к нему. Когда впервые подъезжал я к ней летом, вечером, она напомнила мне фабрику: трубы, крыши огромные, несуразная громоздкость <...> жилище его говорило о нецельности...» [Зайцев: 259—260]

Двойственность Андреева отмечалась многими гостями: он азартно и охотно играл в жизнь (плотника, художника, фотографа, моряка, наконец, радушного хозяина), но часто впадал в болезненную меланхолию⁵ и, запираясь в своем кабинете с замершим посередине огромным письменным столом, мерял шагами версты, говорил о смерти. К. Чуковский в «Книге о Леониде Андрееве» писал: «Во всем, что окружало и отражало Андреева, было что-то декоративное, театральное. Вся обстановка в его доме казалась иногда бутафорской; и самый дом — в норвежском стиле, с башней — казался вымыслом талантливого режиссера» [Чуковский: 27]. Неудивительно, что «режиссер и актер» Андреев, накрепко связанный со своими героями, зачастую узнаваем в них: герцог Лоренцо, студент Глуховцев, профессор Сторицын, клоун Тот, Директор театра из «Реквиема»...

Именно «вторая действительность» (по Б. Зайцеву) диктовала произведения, которые Андреев являл быстро и набело, но постепенно отдаляла его от большинства современников (самый яркий пример — М. Горький), не принимавших (или не понимавших) произведения автора, написанные после «вершины 1906—1907 годов»⁶. В контексте «режиссера и актера» и «второй действитель-

 $^{^5}$ О возможной психической болезни Л. Андреева см.: [Уайт]. 6 По выражению самого Л. Андреева [Кен, Рогов: 320].

ности» можно поднять вопрос о бахтинской «вненаходимости» автора по отношению к основным персонажам, которая понимается как состояние неполного присутствия и как невозможность четкой пространственной фиксации (см. [Ушакин: 76]).

«Рассказ о семи повешенных», написанный накануне окончательного переезда в Ваммельсуу и первый раз прочитанный на публике в апреле 1908 года, является иллюстрацией данного тезиса. Многоакцентное восприятие последних дней жизни семи заключенных, приговоренных к смертной казни и связанных темой преступления совершенного или задуманного (можно вспомнить заключение автора в Таганской тюрьме и скрытое участие в восстании русского гарнизона в Гельсингфорсе); абсолютно равноценные кругозоры героев, эволюция внешняя и внутренняя каждого из них — все это в итоге складывается в единство полифонического рассказа.

Основной рефрен «меня не надо вешать», принадлежащий бесцветному (аллюзия, указывающая на интерьер андреевского дома?) Янсону, добавляет персонажу глубину и значительную резкость. Глупость (или, если угодно, убогость) его преступления отходит на дальний план, выхватывая диалог между двумя, очень условными, полюсами: эстонцем и Вернером. Именно эта интонация, подчеркнутая строчкой из типичной андреевской песни «мою любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега», являет пример диалогического многоголосия, двойственности — внешнего и внутреннего.

Интересна этимология фразы эстонца Янсона: Л. Андреев услышал безынтонационное «мне не надо рубль» от финского извозчика, везшего писателя от железнодорожной станции на дачу. Добавив еще полтинник, Л. Андреев отпечатал в памяти читателя эти незначительно измененные слова. Указанная деталь немаловажна и в контексте пространственной локализации автора, мыслями уже находившегося в новом доме, в ином культурном ландшафте.

В «Рассказе о семи повешенных» есть еще несколько деталей, тесно связанных с Финляндией. Это железная дорога, которая раньше вела Сергея Головина на дачу,

а теперь — на виселицу (можно ли это трактовать как предчувствие смерти писателя в изоляции, учитывая множество примеров «предугадывания» событий в его произведениях?). И, главное, запах моря, точно указывающий на местоположение героев. Свобода и Финляндия в понимании поколения Л. Андреева во многом синонимичны (до событий 1917 года), и смерть неудавшихся революционеров именно на границе (!) с Великим княжеством представляется неслучайной.

3

Влияние финского ландшафта, окружающего чернореченский дом, проявляется в воспоминаниях как самого писателя, так и его гостей. «Сама природа, — все эти моря, облака и запахи я должен приспособить для приема внутрь...» — сообщает Андреев в одном из писем после окончательного переезда в новый дом [Зайцев: 260— 261]. И он действительно пытается изменить ландшафт под себя, сажая вокруг дома деревья и кусты, прокладывая новые дорожки, проводя водопровод. Но большинство деревьев, не выдержав глинистой почвы, умирали, заброшенные дорожки зарастали, водопровод ломался, крыша протекала, башня с каждым годом все больше кренилась; многие из пятнадцати комнат, снабженных печами и каминами, зимой были холодными и мрачными. Но жизнь, напротив, не угасала: пикники и городки летом, лыжи и финские сани зимой составляли досуг гостей, как и постоянное, «истинно московское», чаепитие за вечно шумящим самоваром.

Драматург Ф. Фальковский, бывший соседом Андреевых, вспоминал: «Клочок земли на финской скале стал миром Леонида Андреева, его родиной, его очагом» [Богданов: 30]. Однако неизбежный диалог «своего» и «чужого» в случае Андреева тяготел к русской культурной составляющей: в период «полуэмиграции» 1908—1917 годов он часто посещал Петербург, ездил в Москву, активно принимал гостей из столицы. Контакты с финнами были минимальными — на бытовом уровне, с переводчиками и репор-

терами, — поэтому они не могли значительно повлиять на мировоззрение писателя 7 .

Тем не менее природный фактор — особая эпическая (вспоминая «Калевалу») атмосфера Карельского перешейка — несомненно влиял на писателя, постепенно удаляя его от родного ландшафта. После путешествия по Оке и Волге в 1915 году Андреев писал Ф. Сологубу: «Отвык сильно от российского, кое-где волновался, умилялся пейзажем и людьми, но больше недоумевал перед чем-то» [Кен, Рогов: 281]. Столкновение (или слияние?) ландшафтов — «своего» и «чужого» — показательно: писатель уже не может разделить их. А сама атмосфера Карельского перешейка неминуемо дополняла его произведения финского периода.

В рассказе «Жизнь Василия Фивейского» автором в полной мере применяется символическое использование пейзажа, который связан, пожалуй, с родной орловщиной. Подобный принцип использовался в пьесе «Океан» (1911), в которой тревожная и яростная водная стихия стала одним из главных героев и трансформирующимся образом пути: она кормит и хоронит аббата, манит и обманывает Мариет, является жизнью Хаггарта. Постоянно вступая в диалог с другими героями, океан испытывает их, чтобы в итоге унести проклятый пиратский корабль в неизвестность. В силуэте полуразрушенного замка на горе угадывается «замок дьявола» на холме в Ваммельсуу, а водная стихия, с которой у автора были особые отношения, намекает на Финляндию.

Символическое обрамление пейзажа применяется также в небольшом рассказе «Герман и Марта» (1914), в котором все действующие лица финны (исключительный случай у Андреева). Убогий и неприветливый ландшафт

⁷ Возникает невольное сравнение с И. Репиным, который контактировал с представителями финской культуры и в честь которого был организован прием у президента независимой Финляндии. Однако Илья Ефимович, укоренившись на финском Карельском перешейке, все равно оставался русским художником, а его окружение составляли русские эмигранты.

с редкими вкраплениями пятен света, неспешная замкнутость жизни — неподвижной, как оледенелая река, в которой в конце рассказа утопилась Марта, — пробираются и во взаимоотношения двух овдовевших главных героев, чью любовь «хоронят» собственные дети, отказавшие им в разрешении на свадьбу. Мецикюля (дословно «лесная деревня») становится для автора символом суровой финской жизни: ее жители навечно «проросли» в деревне, а единственный далекий город Выборг несет в себе лишь черты разрушения: «...в Выборге ничего хорошего не сказали Герману, а спирту он напился, а деньги пропил и потерял, и назад вернулся только через пять дней пешком».

Исходя из многих бытовых неурядиц, сложных отношений со второй женой, серьезной критики произведений, неустойчивого успеха театральных постановок, можно сказать, что море, «единая его любовь сверхжитейская и покой» [Кен, Рогов: 265], больше всего оправдало ожидания Андреева от Финляндии. В. Беклемишева, жена главного редактора издательства «Шиповник» С. Копельмана, отмечает, что именно «страсть к водному простору толкнула Андреева в Финляндию <...> Свобода, ширь, стихия вот, что ему было необходимо» [Кен, Рогов: 210]. Запись из дневника Ф. Фидлера от 9 августа 1910 года также подтверждает это: «Я очень люблю море, и его ярость меня не трогает. И вот, мне хотелось бы иметь большую яхту, куда я мог бы перенести всю свою семейную обстановку. В этом плавучем доме, окруженный моей семьей, я путешествовал бы вдоль всей Европы...» — говорил Андреев о своих планах [Фидлер: 538].

Но они воплотились лишь частично: на большой яхте «Далекий», приобретенной в 1912 году, писатель совершал путешествия только вдоль финского берега. В повести «Детство» Вадим Андреев вспоминает, что его отец особенно любил шхерный маршрут от Терийоки до Гельсингфорса. Название яхты осталось лишь мечтой о больших путешествиях. Или же Андреев воплотил ее здесь, в Финском заливе? Такую возможность подтверждают незаконченный очерк «Шхеры» и дневниковая запись младшего брата Андрея, в день начала Первой мировой войны гостившего в Ваммельсуу: «Безмолвная красота,

божественное сияние финляндских шхер...» [Кен, Рогов: 276]. Эти же слова еще больше подчеркивают несоответствие между внешней обстановкой и внутренним миром Андреева в период с 1914 по 1919 годы. Вскоре знаменитому писателю, выбравшему «свободную» Финляндию и имевшему небольшую флотилию из двух яхт и лодок, пришлось подчиниться приказу о запрете выхода в море, что очень его угнетало.

Отражение этой щемящей морской несвободы можно найти в объяснении Таисии с матерью Еленой Дмитриевной на пляже Финского залива неподалеку от финского Оллила (современное Солнечное) в рассказе «Жертва» (1916). «В тот день на Финском заливе была буря <...> и сильный ветер забирался в рот и уши, мешая говорить; негромко плескался прибой, но вдалеке что-то сильно и угрожающе ревело одинаковым голосом: точно с самим собою разговаривал кто-то угрюмый, впавший в отчаяние. И там вспыхивал и погасал маяк». Вскоре мать погибнет под колесами поезда, следовавшего из Петербурга обратно в сторону Финляндии...

Морская стихия писателя иллюстрирует тезисы о «самодовлеющей власти местности над судьбой и сознанием человека» и «власти города (в нашем случае, местности) над сознанием и поступками персонажей», отсылающие к локально-историческому методу Н. Анциферова (см.: [Анциферов: 12, 492]). Однако в случае Андреева нужно выделять несколько уровней «ландшафтного взаимодействия»: финский ландшафт, коррелируясь с культурным пространством дачного Карельского перешейка, тем не менее оставался самодостаточным, а неразрывность связи последнего с Петербургом подчеркивала сильное этнокультурное и социальное влияние города. Именно в указанном взаимодействии следует рассматривать преломление андреевского диалога «своего» и «чужого», где основным фоном являлись отношения писателя и города.

Одним из показательных произведений в этом контексте служит повесть «Иго войны» (1916), события которой происходят в военном Петербурге-Петрограде и показаны через призму маленького человека. Это, наверное, единственное произведение Л. Андреева, являющее

его теплое отношение к городу на Неве. Упоминание Финляндского вокзала в связи с возвращением группы военных инвалидов из немецкого плена не привносит в сюжет «чужого» финского начала — согласно Б. Хеллману, автор противопоставляет два разных типа организации — «немецкий» и «русский» (см.: [Хеллман 2009: 98]).

Значимым в указанном контексте стало посвящение повести И. Репину, на которое писатель просил разрешение у художника, жившего вне столицы с рубежа XIX и XX веков. Посвящение еще больше проиллюстрировало глубинную связь хозяина «Пенат» с событиями в России, а хозяина «Виллы Аванс» — с Петербургом, внешне отрицаемую им. После переезда в Ваммельсуу связующим звеном с Петербургом и Россией кроме Финляндской железной дороги стал Кронштадт, видимый в ясную погоду невооруженным глазом, а гул самого большого колокола Исаакиевского собора изредка долетал до финского берега в ранней утренней тиши. Мнимость этой связи стала очевидна после указанного запрета на выход в море и закрытия летом 1918 года советско-финляндской границы. Лишь тягостное наблюдение за островом через морской бинокль с опасно покосившейся башни соединяло писателя с родиной.

Началась настоящая, не «половинчатая», эмиграция: Андреев, покинувший Петроград сразу после Октябрьской революции, потерял не только привычную ему Россию, устоявшийся круг общения, наконец, средства к существованию, но и Андрея, уехавшего сражаться за белых и затерявшегося где-то в Сибири. Близость границы не помогала, а, скорее, мешала: зарево Кронштадта, немецкие и финские солдаты под окнами дома, налеты советских аэропланов, наконец, взрыв форта Ино, находившегося рядом, — все это морально подавляло писателя, отталкивало его от художественной работы в сторону публицистики.

Появившийся незадолго до смерти Андреева мираж Петрограда, о котором в своих воспоминаниях «Дом на Черной речке» говорит Вера Андреева, стал символичным:

Приподнявшись над чертой горизонта, прямо в воздухе <...> предстал перед нами Петроград! Вот дома, улицы, вот величественная громада Исаакия... Взрослые суетились, щел-

кали фотоаппаратами, говорили, что это редкость, такой мираж <...> А оно начало бледнеть, все прозрачней становились здания, колонны как-то заколебались, все заструилось, задрожало... и вот уже нет ничего... [Андреева: 315]

4

Вынужденный разрыв последней связи с Россией писатель переживал острее всего. За неделю до смерти Андреев писал Н. Рериху:

Все мои несчастья сводятся к одному: нет дома. Был прежде маленький дом, дача в Финляндии, и большой дом: Россия с ее могучей опорой, силами и простором. Был и самый просторный дом — искусство-творчество, куда уходила душа. И все пропало. Вместо маленького дома — холодная, промерзлая, оборванная дача с выбитыми стеклами, а кругом — чужая и враждебная Финляндия. Нет России... [Кен, Рогов: 345]

В непрерывном взаимодействии «своего» и «чужого» фокус сместился в сторону чуждого ему финского влияния: ввиду активного процесса становления финляндской национальной идеи и вследствие так называемых «периодов угнетения» общество относилось ко всему русскому резко отрицательно. Короткая финская Гражданская война 1918 года, события которой прошли в основном в стороне от дома Андреева, обернулась изоляцией — не только от России, но и от финского общества. Русская Финляндия, кроме некоторых близких по духу людей, оставалась далекой и, как казалось ему, недееспособной: он отказался от руководящего поста по делам пе-

⁸ Финская историография рассматривает два «периода угнетения» (1899—1905, 1908—1914), связанные с унификацией законов Российской империи и автономного Великого княжества Финляндского, а также с попыткой внедрить русский язык в делопроизводство и образование.

чати в Политическом совещании при генерале Юдениче из-за «узости, мелкоты, личного» [Кен, Рогов: 352].

Публицистика Андреева того периода полна сильных образов и мрачных пророчеств об опасности большевизма («Veni, Creator!», «S.O.S.», «Европа в опасности»). Однако практически это был «крик в пустоту»: редкие статьи печатались в том объеме, который предполагал автор. И, главное, не вызывали существенных откликов. Последнее произведение, роман «Дневник Сатаны», являет эту пустоту — пропасть между человеком и его поступками — в несколько ином свойстве. Пришествие Сатаны, которое Андреев предрекал в концовке статьи «Veni, Creator!», состоялось, но он постепенно «вочеловечивается» — деяния его подчиняются страстной и обманутой любви к Марине. Напротив, поступки ее отца Магнуса автор показывает сверхсатанинскими — продуманными и бесчеловечными. Символично, что действие романа происходит накануне Первой мировой войны в Риме⁹ как символе вечного города и эпохи Возрождения — но надежды на возрождение человека у автора нет...

Война, революции, тревога о завтрашнем дне, беспомощное состояние и положение семьи в Финляндии, предложения об эмиграции в Америку или в Европу — все это подсказывало Андрееву место действия и сюжет романа. Влияние финского ландшафта в этих условиях уже практически невозможно: писатель разочаровался в Финляндии (лишь поначалу Марина являет образ любимого водного простора) и в своем детище — «дом оказался неудачным и обманул его» [Кен, Рогов: 322]. В похожей тональности он писал Н. Рериху: «Ведь я живу за границей не только в смысле территориально-политическом, но и в отношении душевном, а Вы для меня — свой» [Кен, Рогов: 341]. Признанием частности своего положения стали прощальные слова к репортеру газеты «Uusi Suomi» («Новая Финляндия»), прозвучавшие за месяц до

 $^{^9}$ Писатель, его жена и сын Савва посетили город во время самой последней поездки за границу с января по май 1914 года.

смерти: «Так приятно встретить понимание в *чужой* стране» [Хеллман 2012: 296].

Скитания по чужим дачам, начавшиеся с осени 1918 года, отъезд Н. Рериха в Европу, разочарование в возможности участия в политической жизни русского зарубежья поместили писателя в вакуум: «свое» (русское) уходило в прошлое, «чужое» (финское и советское) стремилось в будущее. Оказавшись на границе чуждых для себя культур, Андреев не смог сделать шаг ни в сторону советской, ни в сторону финской — привычная ему русская культура вела в эмиграцию, где через некоторое время должна была измениться или исчезнуть.

В естественных науках пограничные явления (или граничный эффект) самые непредсказуемые, а неустойчивость границ (территориальных, этнолингвистических и культурных) ведет к симбиозу или к поглощению одной из сред противоположной. В данном контексте неудивительны метания писателя в поисках привычной почвы в условиях активного взаимодействия сред — от радости обретения нового дома до его отрицания, от протеста против войны до объяснения ее значимости, от полного принятия Февральской революции до полного неприятия Октябрьской. Трактуя это явление математическим языком, можно сказать, что множества гармоник, накладываясь друг на друга, стремятся либо к резонансу, либо к угасанию.

Оставаясь в статичном пространстве в условиях стремительных изменений других национальных культур, писатель обрекал себя на условную «вненаходимость»: частичное присутствие в советской культуре и непонимание, как отождествлять себя с новой Финляндией. Отвлеченный от границ, культурный акт теряет почву, становится пустым, вырождается и умирает (см.: [Бахтин 2003: 282]). Это и стало трагедией последних лет жизни Андреева. «Чужая и враждебная Финляндия. Нет России. Нет и творчества...» [Кен, Рогов: 345] — кульминация письма к Н. Рериху иллюстрирует указанный тезис.

Можно поднять вопрос и в иной плоскости: стало ли угасание творческого импульса Андреева после «вершины 1906—1907 годов» следствием переезда в Финлян-

дию? Но здесь однозначного ответа быть не может: слишком много факторов (семейный, общественный, военно-революционный, финансовый, наконец, географический) вмешались в процесс рождения новых произведений. Однако тезис М. Бахтина, созвучный идеям Н. Анциферова (в том, что литературный акт запечатлевает глубокие исторические процессы), частично отвечает на поставленный выше вопрос: «Современность, взятая вне своего отношения к прошлому и будущему, утрачивает свое единство, рассыпается на единичные явления и вещи, становится абстрактным конгломератом их» [Бахтин 2012: 400].

Поэтому признание собственной неудачи в попытке обрести иную, свободную от московских и петербургских устоев, жизнь нельзя списать только на внешние факторы. «Новых друзей не приобрел, а от старых отдалился, находясь в Финляндии», — подчеркивает его московский друг Б. Зайцев [Зайцев: 262]. Писатель проиграл, в отличие от И. Репина, в противостоянии (не взаимовлиянии!) «своего» и «чужого»: чувствуя себя русским писателем, он не смог встроиться в финский ландшафт и был обречен на изоляцию. События Октября 1917 года лишь подтолкнули окружавшую Андреева действительность к необратимым переменам.

Не принимая возможности пересечения культурных границ и, главное, не осознавая динамики их изменений, он неминуемо пришел к диссонансу в диалоге «своего» и «чужого», в котором влияние собственного мировоззрения перевешивало необходимость учитывать окружающую финскую идентичность (к чему в итоге пришел И. Репин). Сглаженный «эффектом русских дачников», процесс становления финского государственного самосознания стремительно разрушал русское влияние, зачастую не желая идти на компромисс. Также не был готов к изменениям культурных границ и бескомпромиссный писатель, не привыкший ориентироваться на окружающее его общество...

Андреев умер в тот день, когда Г. Бернштейн телеграфировал писателю, что закончены приготовления для поездки в Америку (см.: [Ришина: 186—187]). Он так и не

смог покинуть Финляндию — настоящая эмиграция, в отличие от той «бутафорской» или «полуэмиграции», которую он выбрал после революции 1905 года, была для него неприемлема.

Литература

 $\it Aндреев Л.$ Держава Рериха // $\it Aндреев Л.$ Собр. соч. в 6 тт. Т. 6. М.: Книжный клуб «Книговек», 2012. С. 652—655.

Андреева В. Дом на Черной речке // Леонид Андреев. Далекие. Близкие: Сборник / Под ред. И. Г. Андреевой. М.: Минувшее, 2011. С. 250—378.

Анциферов Н. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города — Петербурга Достоевского — на основе анализа литературных традиции / Сост., подгот. текста, послесл. Д. С. Московской. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

Бахтин М. Проблема формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве // *Бахтин М.* Собр. соч. в 7 тт. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. М.: Русские словари, 2003. С. 266—324.

Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе // *Бахтин М.* Указ. изд. Т. 3. Теория романа (1930—1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. С. 340-511.

Богданов А. Между стеной и бездной // *Андреев Л*. Собр. соч. в 6 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 5—40.

Григорьева Н. Путешествие в русскую Финляндию: Очерк истории и культуры. СПб.: Норма, 2002.

Зайцев Б. Леонид Андреев // Зайцев Б. Улица святого Николая: Повести и рассказы. М.: Художественная литература, 1989. С. 254-263.

Иезуитова Л. Леонид Андреев и литература Серебряного века. Избранные труды. СПб.: Петрополис, 2010.

Кен Л., *Рогов Л*. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками. СПб.: Коста, 2010.

Лихачев Д. Воспоминания. М.: АСТ, 2016.

Мусаев В. Россия и Финляндия: миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX века — 1930-е гг.). СПб.: Изд. Политехнического университета, 2007.

Ришина Р. «Вечные дебри отчаяния»: Леонид Андреев и американский оптимизм // Леонид Андреев: материалы и исследования. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 180—201.

Уайт Ф. Леонид Андреев: лицедейство и обман / Перевод с англ. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. 2004. № 5 (69). С. 130—143.

Ушакин С. Вне находимости: Бахтин как чужое свое // Новое литературное обозрение. 2006. № 3 (79). С. 73—85.

 $\Phi u \partial nep \Phi$. Из мира литераторов: характеры и суждения. М.: Н.ЛО, 2008.

 $Xеллман\ Б.$ Маленький человек и великая война: Повесть Л. Н. Андреева «Иго войны» // $Xеллман\ Б.$ Встречи и столкновения: Статьи по русской литературе. Хельсинки, 2009. (Slavica Helsingiensia 36). С. 89—99.

Xеллман B. Рецепция творчества M. Н. Андреева в Финляндии // Леонид Андреев: материалы и исследования. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 278—298.

Чуковский К. Леонид Андреев // *Чуковский К.* Собр. соч. в 15 тт. Т. 6. М.: Художественная литература, 1969. С. 22-47.

References

Andreev L. The Realm of Roerich // Andreev L. Collected works in 6 vols. Vol. 6. Moscow: Knizhniy klub Knigovek, 2012. P. 652—655. (In Russ.)

Andreeva V. The House at Chernaya Rechka // Leonid Andreev. Distant. Close / Ed. I. G. Andreeva. Moscow: Minuvshee, 2011. P. 250—378. (In Russ.)

Antsiferov N. Urbanism Issues in Russian Fiction. Reconstructing the Image of Dostoevsky's Petersburg Basing on the Analysis of Literary Traditions / Comp., text prep., afterword by D. S. Moskovskaya. Moscow: IMLI RAN, 2009. (In Russ.)

Bakhtin M. The Problem of Content, Material and Form in Verbal Art // Bakhtin M. Collected works in 7 vols. Vol. 1. Philosophical Aesthetics of the 1920s. Moscow: Russkie slovari, 2003. P. 266—324. (In Russ.)

Bakhtin M. The Forms of Time and Chronotope in the Novel // Bakhtin M. Collected works in 7 vols. Vol. 3. Theory of the Novel

(1930—1961). Moscow: Yazyki slavyanskikh kultur, 2012. P. 340—511. (In Russ.)

Bogdanov A. Between the Wall and the Abyss // Andreev L. Collected works in 6 vols. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1990. P. 5—40. (In Russ.)

Chukovsky K. Leonid Andreev // *Chukovsky K.* Collected works in 15 vols. Vol. 6. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1969. P. 22–47. (In Russ.)

Fidler F. From the World of Writers: Personalities and Judgements. Moscow: NLO, 2008. (In Russ.)

Grigorieva N. A Journey to Russian Finland: An Essay on History and Culture. St. Petersburg: Norma, 2002. (In Russ.)

Hellman B. The Little Man and the Great War: The Story The Yoke of War [Igo voyny] by L. N. Andreev // Hellman B. Meetings and Clashes. Articles on Russian Literature. Helsinki, 2009. (Slavica Helsingiensia 36). P. 89—99. (In Russ.)

Hellman B. The Reception of L. N. Andreev's Work in Finland // Leonid Andreev: Materials and Research. Issue 2. Moscow: IMLI RAN, 2012. P. 278—298. (In Russ.)

Iezuitova L. Leonid Andreev and Literature of the Silver Age. Selected works. St. Petersburg: Petropolis, 2010. (In Russ.)

Ken L., Rogov L. The Life of Leonid Andreev, Told by Himself and His Contemporaries. St. Petersburg: Kosta, 2010. (In Russ.)

Likhachev D. Memoirs. Moscow: AST, 2016. (In Russ.)

Musaev V. Russia and Finland: Migration Contacts and the Status of Diasporas (the late 19th century — 1930s). St. Petersburg: Publishing house of Polytechnic University, 2007. (In Russ.)

Rishina R. 'The Eternal Jungle of Despair': Leonid Andreev and American Optimism // Leonid Andreev: Materials and Research. Issue 2. P. 180—201. (In Russ.)

Ushakin S. Outsideness: Bakhtin as Someone Else's Own // Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. Issue 3 (79). P. 73—85. (In Russ.)

White F. Leonid Andreev: Performance and Deception / Translated from English by E. Kanishcheva // Novoe literaturnoe obozrenie. 2004. Issue 5 (69). P. 130—143. (In Russ.)

 $\it Zaytsev~B.$ Leonid Andreev // $\it Zaytsev~B.$ St. Nicolas Street. Tales and short stories. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1989. P. 254—263. (In Russ.)